

Михаил Александрович Бакунин

# Исповедь



Михаил Бакунин

**Исповедь**

«Public Domain»

1851

## **Бакунин М. А.**

Исповедь / М. А. Бакунин — «Public Domain», 1851

«...Чтобы выпить достойно и без подлой слабости горькую чашу, мною же самим уготованную. Я знал, что, лишенный дворянства тому назад несколько лет приговором правительствующего сената и указом Вашего императорского величества, я мог быть законно подвержен телесному наказанию, и, ожидая худшего, надеялся только на одну смерть как на скорую избавительницу от всех мук и от всех испытаний...»

© Бакунин М. А., 1851

© Public Domain, 1851

# Михаил Бакунин

## Исповедь

[Июль-начало августа 1851 года. Петропавловская крепость.]

Ваше императорское величество,  
всемиловитейший государь!

Когда меня везли из Австрии в Россию, зная строгость русских законов, зная Вашу непроборимую ненависть ко всему, что только похоже на непослушание, не говоря уже о явном бунте против воли Вашего императорского величества, зная также всю тяжесть моих преступлений, которых не имел ни надежды, ни даже намерения утаить или умалить перед судом, я сказал себе, что мне остается только одно – *терпеть до конца*, и просил у бога Силы для того.

Чтобы выпить достойно и *без подлой слабости* горькую чашу, мною же самим уготованную. Я знал, что, лишенный дворянства тому назад несколько лет приговором правительствующего сената и указом Вашего императорского величества, я мог быть законно подвержен телесному наказанию, и, ожидая худшего, надеялся только на одну смерть как на скорую избавительницу от всех мук и от всех испытаний.

Не могу выразить, государь, как я был поражен, глубоко тронут благородным, человеческим, снисходительным обхождением, встретившим меня при самом моем въезде на русскую границу! Я ожидал другой встречи. Что я увидел, услышал, все, что испытал продолжение целой дороги от Царства Польского до Петропавловской крепости, было так противно моим боязненным ожиданиям, стояло в таком противоречии со всем тем, что я сам по слухам и думал и говорил и писал о жестокости русского правительства, что я, в первый раз усумнившись в истине прежних понятий, спросил себя с изумленьем: не клеветал ли я? Двухмесячное пребывание в Петропавловской крепости окончательно убедило меня в совершенной неосновательности многих старых предубеждений.

*(Отчеркнуто карандашом на полях)*

Не подумайте впрочем, государь, чтобы я, поощряясь таковым человеколюбивым обхождением, возымел какую-нибудь ложную или суетную надежду. Я очень хорошо понимаю, что строгость законов не исключает человеколюбия точно так же, как и обратно, что человеколюбие не исключает строгого исполнения законов. Я знаю, сколь велики мои преступления, и, потеряв право надеяться, ничего не надеюсь, – и, сказать ли Вам правду, государь, так постарел и отяжелел душою в последние годы, что даже почти ничего не желаю.

Граф Орлов объявил мне от имени Вашего императорского величества, что Вы желаете, государь, чтоб я Вам написал полную исповедь всех своих прегрешений. Государь! Я не заслужил такой милости и краснею, вспомнив все, что дерзал говорить и писать о неумолимой строгости Вашего императорского величества.

Как же я буду писать? Что скажу я страшному русскому царю, грозному блюстителю и ревнителю законов? Исповедь моя Вам как моему государю заключалась бы в следующих немногих словах: государь! я кругом виноват перед Вашим императорским величеством и перед законами отечества. Вы знаете мои преступления, и то, что Вам известно, достаточно для осуждения меня по законам на тягчайшую казнь, существующую в России. Я был в явном бунте против Вас, государь, и против Вашего правительства; дерзал противостать Вам как враг, писал, говорил, возмущал умы против Вас, где и сколько мог. Чего же более? Велите судить и казнить меня, государь; и суд Ваш и казнь Ваша будут законны и справедливы. Что же более мог бы я написать своему государю?

Но граф Орлов сказал мне от имени Вашего императорского величества слово, которое потрясло меня до глубины души и перевернуло все сердце мое: «Пишите, – сказал он мне, – пишите к государю, как бы вы говорили с своим духовным отцом».

Да, государь, я буду исповедываться Вам как духовному отцу, от которого человек ожидает не здесь, но для другого мира прощения, и прошу бога, чтобы он мне внушил слова простые, искренние, сердечные, без ухищрения и лести, достойные одним словом найти доступ к сердцу Вашего императорского величества.

*(Этим уже уничтожает всякое доверие; ежели он чувствует всю тяжесть своих грехов, то одна чистая полная исповедь, а не условная, может почесться исповедью.)*

Молю Вас только о двух вещах, государь! Во-первых, не сомневайтесь в истине слов моих: клянусь Вам, что никакая ложь, ниже тысячная часть лжи не вытечет из пера моего. А во-вторых молю Вас, государь, не требуйте от меня, чтобы я Вам исповедывал чужие грехи. Ведь на духу никто не открывает грехи других, только свои. Из совершенного кораблекрушения, постигшего меня, я спас только одно благо: честь и сознание, что для своего спасения или для облегчения своей участи нигде, ни в Саксонии, ни в Австрии, не был предателем. Противное же сознание, что я изменил чьей-нибудь доверенности или даже перенес слово, сказанное при мне, по неосторожности, было бы для меня мучительнее самой пытки. И в Ваших собственных глазах, государь, я хочу быть лучше преступником, заслуживающим жесточайшей казни, чем подлецом.

Итак я начну свою исповедь.

Для того чтобы она была совершенна, я должен сказать несколько слов о своей первой молодости. Я учился три года в Артиллерийском училище, был произведен в офицеры в 19-ом году от рожденья, а в конце четвертого [года] своего ученья, бывши в первом офицерском классе, влюбился, сбился с толку, перестал учиться, выдержал экзамен самым постыдным образом или, лучше оказать, совсем не выдержал его, а за это был отправлен служить в Литву с определением, чтобы в продолжение трех лет меня обходили чином и до подпоручичьего чина ни в отставку, ни в отпуск не отпускали. Таким образом моя служебная карьера испортилась в самом начале моею собственною виною и несмотря на истинно отеческое попечение обо мне Михаила Михайловича Кованьки, бывшего тогда командиром Артиллерийского училища.

Прослужив один год в Литве, я вышел с большим трудом в отставку совершенно против желания отца моего. Оставив же военную службу, выучился по-немецки и бросился с жадностью на изучение германской философии, от которой ждал света и спасения. Одаренный пылким воображеньем и, как говорят французы, *d'une grande dose d'exaltation* (Значительною дозой экзальтации), – простите, государь, не нахожу русского выражения, – я причинил много горя своему старику-отцу, в чем теперь от всей души, хотя и поздно, каюсь. Только одно могу сказать в свое оправдание: мои тогдашние глупости, а также и позднейшие грехи и преступления были чужды всем низким, своекорыстным побуждениям; происходили же большею частью от ложных понятий, но еще более от сильной и никогда не удовлетворенной потребности знания, жизни и действия.

В 1840-м году, в двадцать же седьмом от рождения, я с трудом выпросился у своего отца за границу, для того чтобы слушать курс наук в Берлинском университете. В Берлине учился полтора года. В первом году моего пребывания за границею и в начале второго я был еще чужд, равно как и прежде в России, всем политическим вопросам, которые даже презирал, смотря на них с высоты философской абстракции; мое равнодушие к ним простиралось так далеко, что я не хотел даже брать газет в руки.

Занимался же науками, особенно германскою метафизикою, в которую был погружен исключительно, почти до сумасшествия, и день и ночь ничего другого не видя кроме катего-

рий Гегеля. Впрочем сама же Германия излечила меня от преобладавшей в ней философской болезни; познакомившись поближе с метафизическими вопросами, я довольно скоро убедился в ничтожности и суетности всякой метафизики: я искал в ней жизни, а в ней смерть и скука, искал дела, а в ней абсолютное безделье.

Немало к сему открытию способствовало и личное знакомство с немецкими профессорами, ибо что может быть уже, жалче, смешнее немецкого профессора да и немецкого человека вообще! Кто узнает короче немецкую жизнь, тот не может любить немецкую науку; а немецкая философия есть чистое произведение немецкой жизни и занимает между действительными науками то же самое место, какое сами немцы занимают между живыми народами.

*(Отчеркнуто карандашом на полях)*

Она мне наконец опротивела, я перестал ею заниматься. Таким образом излечившись от германской метафизики, я не излечился однако от жажды нового, от желания и надежды сыскать для себя в Западной Европе благодарный предмет для занятий и широкое поле для действия. Несчастливая мысль не возвращаться в Россию уже начинала мелькать в уме моем: я оставил философию и бросился в политику.

Находясь в сем переходном состоянии, я переселился из Берлина в Дрезден; стал читать политические журналы (Т. е. газеты).

Со вступлением на престол ныне царствующего прусского короля Германия приняла новое направление: король своими-речами, обещаниями, нововведениями взволновал, привел в движение не только Пруссию, но и все прочие немецкие земли, так что доктор Руге (Арнольд. Слово «д-р Руге» по-немецки в оригинале.) не без основания прозвал его первым германским революционером, – простите, государь, что я выражаюсь так смело, говоря о венценосной особе. Тогда появилось в Германии множество брошюр, журналов, политических стихотворений, и я читал все с жадностью. В это же время в первый раз услышалось слово о коммунизме; вышла книга: «Die Sozialisten in Frankreich» доктора Штейна (Лоренц. Слово «Штейн» по-немецки в оригинале. Бакунин приводит заглавие его книги неточно; в действительности она озаглавлена была «Der Sozialismus und Kommunismus des heutigen Frankreich» («Социализм и коммунизм современной Франции»); вышла в 1842 году в двух томах.), произведшая почти такое же сильное и общее впечатление, как прежде книга доктора Штрауса «Das Leben Jesu» (жизнь Христа, Слово «Штраус» по-немецки в оригинале.), а мне открывшая новый мир, в который я бросился со всею пылкостью алчущего и жаждущего. Мне казалось, что я слышу возвешение новой благодати, откровение новой религии возвышения, достоинства, счастья, освобождения всего человеческого рода; я стал читать сочинения французских демократов и социалистов и проглотил все, что мог только достать в Дрездене. Познакомившись вскоре с доктором Арнольдом Руге, издававшим тогда «Die Deutsche Jahrbücher» («Немецкие Летописи». Слово «Арнольд Руге» по-немецки в оригинале.), журнал, находившийся в это время почти в таком же переходе из философии в политику, я написал для него философски-революционную статью под заглавием «Die Parteien in Deutschland», под псевдонимом Jules Elyzard [«Партии в Германии» Жюля Элизара (на самом деле заглавие статьи было «Реакция в Германии»; см. том III, стр 126–148).] и так несчастлива и тяжела была рука моя с самого начала, что лишь только появилась эта статья, то и самый журнал запретили. Это было в конце 1842-го года.

Тогда приехал из Швейцарии в Дрезден политический поэт Георг Гервег, носимый на руках целой Германии и принятый с почестью самим прусским королем, изгнавшим его вскоре потом из своих владений. Оставляя в стороне политическое направление Гервега, о котором не смею говорить перед Вашим императорским величеством, я должен сказать, что он – человек чистый, истинно благородный, с душою широкою, что редко бывает у немца, – человек, ищущий истины, а не своей корысти и пользы.

Я с ним познакомился, подружился и остался с ним до конца в дружеской связи. Вышеупомянутая статья в «Deutsche Jahrbücher», знакомство с Руге и с его кружком, особенно же моя дружеская связь с Гервегом, который громко называл себя республиканцем, впрочем связь еще не политическая, хотя и основанная на сходстве мыслей, потребностей и направлений, – не политическая же потому, что не имела решительно никакой положительной цели, – все это обратило на меня внимание посольства в Дрездене. Я услышал, что будто бы уж начали говорить о необходимости вернуть меня в Россию; но возвращение в Россию мне казалось смертью! В Западной Европе передо мной открывался горизонт бесконечный, я чаял жизни, чудес, широкого раздолья; в России же видел тьму, нравственный холод, оцепенение, бездействие, – и решил оторваться от родины.

Все мои последовавшие грехи и несчастья произошли от этого легкомысленного шага. Гервег должен был оставить Германию, я отправился с ним вместе в Швейцарию, – если бы он ехал в Америку, я и туда поехал бы с ним, – и поселился в Цюрихе, в январе 1843 года.

Равно как в Берлине я понемногу стал излечаться от своей философской болезни, так в Швейцарии начались мои политические разочарования. Но так как политическая немощь тяжелее, вреднее, глубже вкореняется в душу, чем философская, то и для излечения от нее требовалось более времени, более горьких опытов;

*(NB)*

она привела меня в то незавидное положение, в котором [я] ныне обретаюсь, да и теперь еще [я] сам не знаю, выздоровел ли я от нее совершенно.

Я не смею занимать внимание Вашего императорского величества описанием внутренней швейцарской политики; по моему мнению она может быть выражена двумя словами: грязная сплетня. Большая часть швейцарских журналов находится в руках немецких переселенцев, – я говорю здесь только о немецкой Швейцарии, – а немцы вообще до такой степени лишены общественного такта, что всякая полемика в их руках обыкновенно обращается в грязную брань, в которой мелким и гнусным личностям нет конца.

В Цюрихе я познакомился с знакомыми и приятелями Гервега, которые мне впрочем так мало понравились, что в продолжение всего времени, проведенного мною в сем городе, я избегал частой встречи с ними и только с одним Гервегом находился в близкой связи. Тогда управлял Цюрихскою республикою статский советник Блюнчли, глава консервативной партии; журнал его «Der Schweizerische Beobachter» вел жестокою бранью с органом демократической партии «Der Schweizerische Republikaner», издаваемым Юлиусом Фребель, знакомым и даже приятелем Гервега.

Не смею также говорить о предмете их тогдашнего спора; в нем слишком много грязи. Это не был чисто политический спор, как случается иногда между враждующими партиями в других государствах; в нем участвовали также и религиозные шарлатаны, пророки, мессии, вместе же и благородные рыцари вольного пропитания, просто воры и даже непотребные женщины, которые сидели потом на одной скамье с господином Блюнчли как свидетельницы и как обвиненные в публичном процессе, окончившем сию скандальную брань.

Блюнчли и его приятели, братья Ромер, один называвший себя мессиею, а другой-пророком, были осуждены и осрамлены вместе с сими дамами. Демократы торжествовали, хотя впрочем и сами вышли из постыдного дела не без стыда; а Блюнчли, для того чтобы отомстить им, а вероятно также повинувшись требованию прусского правительства, изгнал совершенно невинного Гервега из Цюрихского кантона.

Я же жил в стороне от всех дряг, редко кого видя кроме Гервега; не был знаком ни с господином Блюнчли, ни с его приятелями; читал, учился и думал о средствах честным образом снискать себе пропитание, ибо из дому не получал более денег. Но Блюнчли, вероятно узнав о моей дружеской связи с Гервегом, – чего не знают в маленьком городке, – а может быть и для

того, чтобы выслужиться перед русским правительством, захотел запутать и меня, к чему ему представился скоро следующий удобный случай.

Гервег, находясь уже в Арговийском кантоне, прислал ко мне с рекомендательною запискою коммуниста портного Вейтлинга, который, отправляясь из Лозанны в Цюрих, на дороге зашел к нему, для того чтобы с ним познакомиться; Гервег же, зная, как меня интересовали тогда социальные вопросы, рекомендовал его мне. Я был рад этому случаю узнать из живого источника о коммунизме, начинавшем тогда уже обращать на себя общее внимание. Вейтлинг мне понравился: он-человек необразованный, но я нашел в нем много природной сметливости, ум быстрый, много энергии, особенно же много дикого фанатизма, благородной гордости и веры в освобождение и будущность поработенного большинства. Он впрочем недолго сохранил сии качества, испортившись скоро потом в обществе коммунистов-литераторов; но тогда он пришелся мне очень по сердцу; я так был прикормлен приторною беседою мелкохарактерных немцев-профессоров и литераторов, что рад был встретить человека свежего, простого и необразованного, но энергического и верующего.

Я просил его посещать меня; он приходил ко мне довольно часто, излагая мне свою теорию и рассказывая много о французских коммунистах, о жизни работников вообще, о их трудах, надеждах, увеселениях, а также и о немецких только что начинавшихся коммунистических обществах. Против теории его я спорил, факты же выслушивал с большим любопытством: тем ограничили мои отношения с Вейтлингом. Другой связи у меня ни с ним, ни с другими коммунистами ни в то время, ни потом решительно не было, и я сам никогда не был коммунистом.

Я остановлюсь здесь, государь, и войду несколько глубже в этот предмет, зная, что неоднократно был обвинен перед правительством в деятельном сообществе с коммунистами сначала через господина Блюнчли, потом *же* вероятно и другими. Я хочу один раз навсегда очиститься от несправедливых обвинений; на мне уж так много, так много тяжких грехов, зачем же мне брать еще на себя грехи, в которых я решительно не был повинен?

Я знал впоследствии многих французских, немецких, бельгийских и английских социалистов и коммунистов, читал их сочинения, изучал их теории, но сам не принадлежал никогда ни к какой секте, ни к какому обществу и решительно оставался чужд их предприятиям, их пропаганде и действиям. Я следовал с постоянным вниманием за движением социализма, особенно же коммунизма, ибо смотрел на него как на естественный, необходимый, неотвратимый результат экономического и политического развития Западной Европы («Я говорю только о Западной Европе, потому что на Востоке и ни в одной славянской земле, – разве только кроме Богемии и отчасти Моравии и Шлезии, – коммунизм не имел ни места ни смысла» (*Примечание Бакунина.*); видел в нем юную, элементарную (т.е. стихийную), себя еще не знающую силу, призванную или обновить или разрушить вконец западные государства. Общественный порядок, общественное устройство сгнили на Западе и едва держатся болезненным усилием, сим одним могут объясниться и та невероятная слабость и тот панический страх, которые в 1848 году постигли все государства на Западе, исключая Англии; но и ту, кажется, постигнет в скором времени та же самая участь.

*(Разительная истина)*

В Западной Европе, куда ни обернешься, везде видишь дряхлость, слабость, безверие и разврат, разв[р]ат, происходящий от безверия; начиная с самого верха общественной лестницы, ни один человек, ни один привилегированный класс не имеет веры в свое призвание и право; все шарлатанят друг перед другом и ни один другому, ниже себе самому не верит: привилегии, классы и власти едва держатся эгоизмом и привычкою – слабая препона против возрастающей бури!

Образованность сделалась тождественна с развратом ума и сердца, тождественна с бессильем, и посреди сего всеобщего гниенья один только грубый, непросвещенный народ, называемый чернью, сохранил в себе свежесть и силу, не так впрочем в Германии, как во Франции.

Кроме этого все доводы и аргументы, служившие сначала аристократии против монархии, а потом среднему сословию против монархии и аристократии, ныне служат и чуть ли еще не с большею силою народным массам против монархии, аристократии и мещанства. Вот в чем состоит по моему мнению сущность и сила коммунизма, не говоря о возрастающей бедности рабочего класса, естественного последствия умножения пролетариата, умножения, в свою очередь необходимо связанного с развитием фабричной индустрии так, как она существует на Западе. Коммунизм по крайней мере столько же произошел и происходит сверху, сколько и снизу; внизу, в народных массах, он растет и живет как потребность не ясная, но энергическая, как инстинкт возвышения; в верхних же классах как разврат, как эгоизм, как инстинкт угрожающей заслуженной беды, так неопределенный и беспомощный страх, следствие дряхлости и нечистой совести; и страх сей и беспрестанный крик против коммунизма чуть ли не более способствовали к распространению последнего, чем самая пропаганда коммунистов («Брошюра Блюнчли, напр., изданная им в 1843 году от имени цюрихского правительства по случаю процесса Вейтлинга, была вместе с упомянутою книгою Штейна одною из главных причин распространения коммунизма в Германии»). (Примечание Бакунина.)

*(Правда)*

Мне кажется, что этот неопределенный, невидимый, неосязаемый, но везде присутствующий коммунизм, живущий в том или другом виде во всех без исключения, в тысячу раз опаснее того определенного и приведенного в систему, который проповедуется только в немногих организованных тайных или явных коммунистических обществах.

Бессилие последних явно оказалось в 1848 году в Англии, во Франции, в Бельгии, а особливо в Германии; и нет ничего легче как отыскать нелепость, противоречие и невозможность в каждой доселе известной социальной теории, так что ни одна не в состоянии выдержать даже трех дней существования.

Простите, государь, сие краткое рассуждение; но мои прегрешения так тесно связаны с моими грешными мыслями, что я не могу исповедывать одних, совершенно не упомянув о других. Я должен был показать, почему я не мог принадлежать ни к одной секте социалистов или коммунистов, как меня в том несправедливо обвиняли.

Разумея причину существования сих сект, я не любил их теорий; не разделяя же последних, не мог быть органом их пропаганды; а наконец и слишком ценил свою независимость для того, чтобы согласиться быть рабом и слепым орудием какого бы то ни было тайного общества, не говоря уж о таком, которого я не мог разделять мнений.

В это же время, т. е. в 1843 году, коммунизм в Швейцарии состоял из малого числа немецких работников: в Лозанне и Женеве явно, в виде обществ для пения, чтения и для общего хозяйства, в Цюрихе же состоял из пяти или шести портных и сапожников. Между швейцар[ц]ами коммунистов не было: природа швейцар[цев] противна всякому коммунизму, а немецкий коммунизм был тогда еще в пеленках. Но для того, чтобы придать себе важность в глазах правителей Европы, отчасти же в тщетной надежде скомпрометировать цюрихских радикалов, Блюнчли составил фантастического страшилу.

Он по собственному признанию знал о приходе Вейтлинга в Цюрих, терпел его присутствие два или три месяца, потом велел схватить его, надеясь найти в его бумагах довольно важных документов для того, чтобы замешать цюрихских радикалов, и ничего не нашел кроме глупой переписки и сплетней, («В доказательство, что все обвинения, заключения, догадки господина Блюнчли и все на них основанное здание были суетны и ложны, я приведу только одно: Вейтлинг был осужден приговором верховного суда на годовое и двухгодовое содержание в тюрьме, и не за коммунизм, а за глупую книгу, напечатанную им незадолго перед тем в Цюрихе. Немедленно по произношению приговора Блюнчла посадил Вейтлинга не в тюрьму, а выдал его прусскому правительству, которое, рассмотрев дело, через месяц выпустило Вейтлинга на свободу»). (Примечание Бакунина)

А против меня два или три письма, Вейтлинга, в которых он говорит обо мне несколько незначительных слов, извещая в одном своего приятеля, что он познакомился с одним русским, и называя меня по фамилии, в другом же называя меня «Der Russe» (Русский) с прибавлением «Der Russe ist ein guter» или «ein prächtiger Kerl» («Этот русский-славный» или «прекрасный парень») и тому подобное.

Вот на чем были основаны обвинения господина Блюнчли против меня: другого же основания и быть не могло, ибо мое знакомство с Вейтлингом ограничилось одним любопытством с моей и охотой рассказывать с его стороны; а кроме Вейтлинга я ни одного коммуниста в Цюрихе не знал. Услышав однакож, не знаю, справедлив ли был этот слух или нет, что Блюнчли имел даже намерение арестовать меня, и опасаясь последствий, я удалился из Цюриха. Жил несколько месяцев в городке Нион на берегу Женевского озера, в совершенном уединении и борясь с нищетою, а потом в Берне, где и узнал в январе или в феврале 1844 года от господина Струве (Аманд Иоаннович), секретаря посольства в Швейцарии, что оное, получив донос против меня от Блюнчли, писало о том в Петербург, откуда и ждало приказаний.

В этом доносе, по сказанию господина Струве, Блюнчли, не довольствуясь обвинением меня в коммунизме, утверждал еще ложно, что будто бы я писал или собирался писать против русского правительства книгу о России и Польше.

Для обвинения меня в коммунизме была хоть тень правдоподобия: мое знакомство с Вейтлингом; но последнее обвинение было решительно лишено всякого основания и доказало мне ясно злое намерение Блюнчли; ибо не только что у меня еще тогда и в мысли не было писать или печатать что о России, но я старался даже не думать об ней, потому что память о ней меня мучила; ум же мой был исключительно устремлен на Западную Европу. Что же касается до Польши, то могу сказать, что в это время я даже не помнил о ее существовании; в Берлине избегал знакомства с поляками, виделся с некоторыми только в университете; в Дрездене же и в Швейцарии ни одного поляка не видел.

До 1844-го года, государь, мои грехи были грехи внутренние, умственные, а не практические: я съел не один, а много плодов от запрещенного древа познания добра и зла, – великий грех, источник и начало всех последовавших преступлений, но еще не определившийся тогда еще ни в какое действие, ни в какое намерение. По мыслям, по направлению я был уж совершенным и отчаянным демократом, а в жизни неопытен, глуп и почти невинен как дитя. Отказавшись ехать в Россию на повелительный зов правительства, я совершил свое первое положительное преступление.

Вследствие этого я оставил Швейцарию и отправился в Бельгию в обществе моего друга Рейхеля. Я должен сказать о нем несколько слов, имя его упоминается довольно часто в обвинительных документах. Адольф Рейхель – прусский подданный, компонист и пианист, чужд всякой политики, а если и слышал об ней, так разве только через меня. Познакомившись с ним в Дрездене я встретившись потом опять в Швейцарии, я с ним сблизился, подружился, он мне был постоянно истинным и единственным другом; я жил с ним неразлучно, иногда даже и на его счет, до самого 1848-го года. Когда я был принужден оставить Швейцарию, – не захотев меня оставить, он поехал со мной в Бельгию.

В Брюсселе я познакомился с Лелевелем (Иоахим).

Тут в первый раз мысль моя обратилась к России и к Польше; бывши тогда уж совершенным демократом, я стал смотреть на них демократическим глазом, хотя еще не ясно и очень неопределенно: национальное чувство, пробудившееся во мне от долгого сна, вследствие трения с польскою национальностью, пришло в борьбу с демократическими понятиями и выводами. С Лелевелем я виделся часто, расспрашивал много о польской революции, о их намерениях, планах в случае победы, о их надеждах на будущее время, и не раз споривал с ним, особенно же насчет Малороссии и Белороссии, которые по их понятиям должны бы были при-

надлежать Польше, по моим же, особенно Малороссия, должны были ненавидеть ее как древнюю притеснительницу.

Впрочем из всех поляков, пребывавших тогда в Брюсселе, знал и видел я только одного Лелевеля, да и с ним отношения мои, хоть мы и часто виделись, никогда не выходили из границ простого знакомства. Правда, что я перевел было на русский язык тот Манифест к русским, за который он был изгнан из Парижа, но это было без последствий: перевод остался ненапечатанный в моих бумагах.

Пробыв несколько месяцев в Брюсселе, я отправился с Рейхелем в Париж, от которого, равно как прежде от Берлина и потом от Швейцарии, ждал теперь себе спасения и света. Это было в юле 1844 года.

Париж подействовал на меня сначала как ушат холодной воды на горячешного; нигде я не чувствовал себя до такой степени уединенным, отчужденным, дезориентированным, – простите это выражение, государь, – как в Париже. Общество мое в первое время почти исключительно состояло из немцев-демократов, или изгнанных или самовольно приехавших из Германии, для того чтобы основать здесь демократический французско-немецкий журнал с целью привести в согласие и связь духовные и политические интересы обоих народов. Но так как немецкие литераторы не могут жить между собою без опор, брани и сплетней, то и все предприятие, возведенное с большим шумом, кануло в воду, окончившись несчастным и подлым еженедельным листом «Vorwärts» (Вперед), который также прожил недолго, потонув скоро в своей собственной грязи; да и самих немцев выгнали из Парижа к моему немалому, облегчению.

*(Отчеркнуто карандашом на полях)*

В это время, то есть в конце осени 1844 года, я в первый раз услышал о приговоре, осудившем меня вместе с Иваном Головиным на лишение Дворянства и на Каторжную работу, услышал же не официально, но от знакомого, кажется от самого Головина, который по этому случаю написал и статью в «Gazette des Tribunaux» («Судебная Газета»), о мнимых правах русской аристократии, будто бы оскорбленных и поправленных в нашем лице; ему же в ответ и в опровержение я написал другую статью в демократическом журнале «Rèforme» в виде письма к редактору. Это письмо, первое слово, сказанное мною печатным образом о России, явилось в журнале «Rèforme» с моею подписью в конце 1844 года, не помню какого месяца, и находится без сомнения в руках правительства в числе обвинительных документов.

По отъезде моем из Брюсселя я не видал ни одного поляка до самого этого времени. Моя статья в «Rèforme» была поводом, к новому знакомству с некоторыми из них. Во-первых пригласил меня к себе князь Адам Чарторижский через одного из своих приверженцев; я был у него один раз и после этого никогда с ним более не видался.

Потом получил из Лондона поздравительное письмо с комплиментами от польских демократов, с приглашением на траурное торжество, совершаемое ими ежегодно в память Рылеева, Пестеля и проч.

Я отвечал им подобными же комплиментами, благодарил за братскую симпатию, а в Лондон не поехал, ибо не определил еще в своем уме то отношение, в котором я, хоть и демократ, но все-таки русский, должен был стоять к польской эмиграции да и к западной публике вообще; опасался же еще громких, пустых и бесполезных демонстраций и фраз, до которых никогда не был я большой охотник. Тем кончились на этот раз мои отношения с поляками, и до самой весны 1846 года я не виделся более ни с одним, исключая Алоиза Бернацкого (занимавшего место министра финансов во Время польской революции), доброго, почтенного старика, с которым я познакомился у Николая Ивановича Тургенева и который, живя вдалеке от всех политических эмиграционных партий, занимался исключительно своею польскою школой. Также видел иногда и Мицкевича, которого уважал в прошедшем как великого славянского поэта, но о котором жалел в настоящем как о полуобманутом, полу-же-обманывающем

апостоле и пророке новой нелепой религии и нового мессии. Мицкевич старался обратить меня, потому что по его мнению достаточно было, чтобы один поляк, один русский, один чех, один француз и один жид согласились жить и действовать вместе в духе Товьянского для того, чтобы перевернуть и спасти мир; поляков у него было довольно, и чехи были, также были и жида и французы, русского только недоставало; он хотел завербовать меня, но не мог.

Между французами у меня были следующие знакомые. Из конституционной партии: Шамболь, редактор «Века», Меррюо, редактор «Конституционалиста», Эмиль Жирардэн, редактор «Прессы», Дюрье, редактор «Французского Курьера», экономисты Леон Фоше, Фредерик Бастиа и Воловский и пр.

Из партии политических республиканцев: Беранже, Ламеннэ, Франсуа, Этьен и Эмануэль Араго, Марраст и Бастид, редакторы «Националя»; из партии демократов: покойный Кавеньяк, брат генерала, Флокон и Луи Блан, редакторы «Реформы», Виктор Консидеран, фурьерист и редактор «Мирной Демократии», Паскаль Дюпра, редактор «Независимого Обозрения», Феликс Пиа, негрофил Виктор Шельхер, профессора Мишле и Кинэ, Прудон, утопист и, несмотря на это, без всякого сомнения один из замечательнейших современных французов, наконец Жорж Занд да еще несколько других, менее известных (В оригинале все эти имена и титулы при них написаны по-французски, причем не всегда правильно. Мы приводим их по-русски).

С одними виделся реже, с другими чаще, не находясь ни с одним в близких отношениях. Посетил также несколько раз в самом начале моего пребывания в Париже французских увереров (Рабочих), общество коммунистов и социалистов, не имея впрочем к тому никакого другого побуждения ни цели кроме любопытства; но скоро перестал ходить к ним, во-первых для того, чтобы не обратить на себя внимание французского правительства и не навлечь на себя напрасного гонения, а главное потому, что не находил в посещении сих обществ ни малейшей для себя пользы. Чаще же всех бывал, – не говоря о Рейхеле, с которым жил безразлично, – бывал чаще у своего старого приятеля Гервега, переселившегося также в Париж и занимавшегося в это время почти исключительно естественными науками, и у Николая Ивановича Тургенева: последний живет семейно, далеко от всякого политического движения и, можно сказать, от всякого общества и, сколько я мог по крайней мере заметить, ничего так горячо не желает как прощения и позволения возвратиться в Россию, для того чтобы прожить последние годы на родине, о которой вспоминает с любовью, нередко со слезами. У него я встречал иногда итальянца графа Мамиани, бывшего потом папским министром в Риме, и неаполитанского генерала Пепе (По-французски в оригинале).

*(Отчеркнуто карандашом на полях)*

Видел также иногда и русских, приезжавших в Париж. Но молю Вас, государь, не требуйте от меня имен.

Уверяю Вас только, – и вспомните, государь, что в начале письма я Вам клялся, что никакая ложь, ниже тысячная часть лжи не осквернит чистоты моей сердечной исповеди, – и теперь клянусь Вам, что ни с одним русским ни тогда, ни потом я не находился в политических отношениях и не имел ни с одним даже и тени политической связи ни лицом к лицу, ни через третьего человека, ни перепискою. Русские приезжие и я жили в совершенно различных сферах: они-богато, весело, задавая друг другу пиры, завтраки и обеды, кутили, пили, ходили по театрам и балам, avec grisettes et lorettes – образ жизни, к которому у меня не было ни чрезвычайной склонности, ни еще менее средств.

Я же жил в бедности, в болезненной борьбе с обстоятельствами и с своими внутренними, никогда неудовлетворенными потребностями жизни и действия и не разделял с ними ни их увеселений, ни своих трудов и занятий.

*(Отчеркнуто карандашом на полях – NB)*

Я не говорю, чтобы я не пробовал никогда, а именно начиная от 1846 года, обратить некоторых к своим мыслям и к тому, что я называл и считал тогда добрым делом; но ни одна попытка моя не имела успеха: они слушали меня с усмешкою, называли меня чудачком, так что после нескольких тщетных усилий я совсем отказался от их обращения. Вся вина некоторых состояла в том, что, видя мою нищету, они мне иногда и то весьма редко помогали.

Я жил большею частью дома, занимаясь отчасти переводами с немецкого для своего пропитания, отчасти же науками: историею, статистикою, политической экономией, социально-экономическими системами, спекулятивною политикою, то есть политикою без всякого применения, а также несколько и математикою и естественными науками. Тут должен я сделать одно замечание к своей собственной чести: парижские, а также и немецкие книгопродавцы неоднократно уговаривали меня писать о России, предлагая мне довольно выгодные условия; но я всегда отказывался, не хотя делать из России предмет торгово-литературной сделки; я никогда не писал о России за деньги и не иначе *qu' mon corps défendant* (Неохотно, поневоле), могу сказать с неохотою, почти против воли и всегда под своим собственным именем.

Кроме вышеупомянутой статьи в «*Rèforme*», да еще другой статьи в «*Constitutionnel*», да той несчастной речи, за которую был изгнан из Парижа, я о России не напечатал ни слова. Я не говорю здесь о том, что писал после февраля 1848-го года, находясь уже тогда в определенной политической деятельности. Впрочем и тут мои публикации ограничиваются двумя воззваниями и несколькими журнальными статьями.

*(Отчеркнуто карандашом на полях)*

Тяжело, очень тяжело мне было жить в Париже, государь! Не столько по бедности, которую я переносил довольно равнодушно, как потому, что, пробудившись наконец от юношеского бреда и от юношеских фантастических ожиданий, я обрел себя вдруг на чужой стороне, в холодной нравственной атмосфере, без родных, без семейства, без круга действия, без дела и без всякой надежды на лучшую будущность. Оторвавшись от родины и заградив себе легкомысленно всякий путь к возвращению, я не умел сделаться ни немцем, ни французом;

напротив, чем долее жил за границею, тем глубже чувствовал, что я – русский и что никогда не перестану быть русским. К русской же жизни не мог иначе возвратиться как преступным революционерным путем, в который тогда еще плохо верил, да и впоследствии, если правду сказать, верил только через болезненное, сверхъестественное усилие, через насильственное заглушение внутреннего голоса, беспрестанно шептавшего мне о нелепости моих надежд и моих предприятий. Мне так бывало иногда тяжело, что не раз останавливался я вечером на мосту, по которому обыкновенно возвращался домой, спрашивая себя, не лучше ли я сделаю, если брошусь в Сену и потоплю в ней безрадостное и бесполезное существование?

К тому же в это время весь мир был погружен в тяжелую летаргию. После короткой суматохи, происшедшей было в Германии по вступлении на прусский престол ныне царствующего короля, и после эфемерного движения, произведенного несколько месяцев позже в целой Европе восточным вопросом в кратковременное министерство Тьера, мир, казалось, заснул и заснул так глубоко, что никто, даже самые экс[ц]ентрические демократы, не верили в его скорое пробуждение. Тогда еще никто не предвидел, что эта тишина была тишина перед бурей, французы же, как известно, отлагали все надежды до смертного часу покойного короля Людвига-Филиппа. Правда, что еще в конце 1844 года мне Марраст (Это слово по-французски в оригинале) раз сказал:

«*La révolution est imminente, mais on ne peut jamais prédire quand et comment se fera une révolution française; la France est comme ce chaudron vapeur toujours prêt à éclater et dont nul ne sait prévoir l'explosion*»

(«Революция неизбежна, но нельзя заранее предсказать, когда и как. Произойдет французская революция; Франция подобна тому паровому котлу, который всегда готов взорваться и взрыва которого никто не в силах предусмотреть»).

Но и Марраст и его приятели и вообще все демократы ходили еще тогда, повеся нос, и находились в превеликом унынии. Консервативная же партия торжествовала, обещала себе жизнь без конца, а публика от скуки занималась скандальными электоральными и иезуитическими происшествиями, да еще заморским движением английских freetraders

(Фритредеры, борющиеся за свободу торговли в Англии)

В середине 1845-го года показались после долгого безветрия – не всем, а только следовавшим за германским развитием – показались, говорю я, первые слабые волны на политическом океане: в Германии появились две новые религиозные секты: die Lichtfreunde und Deutschkatoliken («Друзья света» и «немецкие католики»).

Во Франции иные над ними смеялись, другие же видели в них, и мне кажется не без основания, знаки времени, предзнаменования погоды. Секты сии, ничтожные сами в себе, были важны тем, что они переводили на религиозный, т. е. на народный язык современные понятия и требования. Они не могли иметь большого влияния на образованные классы, но зато действовали на воображение масс, всегда более склонных к религиозному фанатизму. К тому же немецкий католицизм был изобретен и пущен в мир (с целью чисто политической) демократической партией в Прусской Шлезии (Силезии); он был действительнее своей старшей протестантской сестры, которая в свою очередь была честнее; между его апостолами и проповедниками было много грязных шарлатанов, но также и много людей даровитых, и можно сказать, что под видом общего причащения, будто бы возобновленного со времен первоначальной церкви, немецкий католицизм явно проповедывал коммунизм.

Но весь интерес, пробужденный появлением сих сект, испарился, когда пронесся вдруг слух, что король Фридрих-Вильгельм IV дал государству своему конституцию. Германия опять взволновалась, и Франция как будто бы в первый раз воспрянула от тяжкого сна. За сим последовали скоро и как громовой удар за ударом сначала польское движение, потом швейцарские и итальянские происшествия, а наконец революция 1848-го года. Я остановлюсь на польском восстании, ибо оно составляет эпоху в моей собственной жизни.

До 1846 года я был чужд всем политическим предприятиям. С польскими демократами не был знаком; немцы, кажется, тогда еще решительно ничего не предпринимали; французы же, с которыми я был знаком, мне ничего не говорили. Находясь издавна в тесной связи с польскими демократами, они без всякого сомнения знали о готовившемся польском восстании, но французы умеют держать тайну, а так как отношения мои с ними ограничивались простым внешним знакомством, то я и не мог узнать от них ничего, так что познанские замыслы, попытка в Царстве Польском, краковское восстание и происшествия в Галиции меня по крайней мере столько же поразили, как и всю прочую публику. Впечатление же, произведенное ими в Париже, было неимоверно: в продолжение двух или трех дней все народонаселение жило на улице; незнакомый говорил с незнакомым, все требовали новостей и все ожидали известий из Польши с трепетным нетерпением.

Это внезапное пробуждение, это всеобщее движение страстей и умов охватило также и меня своими волнами, я сам как будто бы проснулся и решился во что бы то ни стало вырваться из своего бездействия и принять деятельное участие в готовящихся происшествиях.

Для этого я должен был вновь обратить на себя внимание поляков, уже успевших позабыть обо мне, и с такою целью написал статью о Польше и о белорусских униатах, о которых была тогда речь во всех западно-европейских журналах. Сия статья, явившаяся в «Constitutionnel» в начале весны 1846 года, находится без сомнения в руках правительства. Когда я отдал ее Merreau, gérant du «Constitutionnel» (Меррюо, редактору «Конституционали-

ста»), он мне сказал: «qu'on mette le feu aux quatre coins du monde pourvu que nous sortions de cet état honteux et insupportable»

(«Пусть мир вспыхнет со всех сторон, лишь бы мы вышли из настоящего постыдного и невыносимого положения!»), – я ему напомнил эти слова в феврале 1848 года, но он уже тогда каялся, испугавшись, как и все либералы династической оппозиции, страшной и вместе странной революции, ими же самими накликанной.

*(Неправда, всякого грешника раскаяние, но чистосердечное может спасти)*

До 1846-года грехи мои не были грехи намеренные, но более легкомысленные и, как бы сказать, юношеские; возмужав летами, я еще долго оставался неопытным юношею. С этого же времени я стал грешить с сознанием, намеренно и с более или менее определенной целью. Государь! я не буду стараться извинять свои неизвинимые преступления, ни говорить Вам о позднем раскаянии, – раскаяние в моем положении столь же бесполезно, как и раскаяние грешника после смерти, – а буду просто рассказывать факты и не утаю, не умалю ни одного.

Вскоре по появлении вышереченной статьи, я отправился я Версаль, без всякого зову, собственным движением, для того чтобы познакомиться и, если было бы возможно, сблизиться и согласиться на общее дело с пребывавшими там тогда членами Централизации польского Демократического общества. Я хотел им предложить совокупное действие на русских, обретавшихся в Царстве Польском, в Литве и в Подолии, предполагая, что они имеют в сих провинциях связи достаточные для деятельной и успешной пропаганды. Целью же поставлял русскую революцию и республиканскую федерацию всех славянских земель, – основание единой и нераздельной славянской республики, федеральной только в административном, центральной же в политическом отношении.

Попытка моя не имела успеха. Я виделся с польскими демократами несколько раз, но не мог с ними сойтись: во-первых вследствие разногласия в наших национальных понятиях и чувствах: они мне показались тесны, ограничены, исключительны, ничего не видели кроме Польши, не понимая перемен, происшедших в самой Польше со времени ее совершенного покорения; отчасти же потому, что они мне и не доверяли да и не обещали себе вероятно большой пользы от моего содействия. Так что после нескольких бесплодных свиданий в Версале мы совсем перестали видеться, и движение мое, преступное в цели, не могло иметь на сей раз никакого преступного последствия.

От конца лета 1846-го года до ноября 1847-го я опять оставался в полном бездействии, занимаясь по старому науками, следуя с трепетным вниманием за возраставшим движением Европы и горя нетерпением принять в нем деятельное участие, но не предпринимая еще ничего положительного. С польскими демократами более не виделся, а видел много молодых поляков, бежавших из края в 1846-м году и которые впоследствии почти все обратились в мистицизм Мицкевича.

В ноябре месяце я был болен и сидел дома с выбритою головою, когда ко мне пришли двое из сих молодых людей, предлагая произнести речь на торжестве, совершаемом ежегодно поляками и французами в память революции 1831-го года. Я с радостью ухватился за эту мысль, заказал парик и, приготовив речь в три дня, произнес ее в многолюдном собрании 17-го/29-го ноября 1847 года. Государь!

*(NB)*

Вы, может быть, знаете эту несчастную речь, начало моих несчастных и преступных походов. За нее по требованию русского посольства я был изгнан из Парижа и поселился в Брюсселе.

*(Отчеркнуто карандашом на полях)*

Там меня встретил Лелевель новым торжеством; я произнес вторую речь, которая была бы напечатана, если бы не помешала февральская революция. В этой речи, бывшей как бы развитием и продолжением первой, я много говорил о России, об ее прошедшем развитии, много

о древней вражде и борьбе между Россией и Польшею; говорил также и о великой будущности славян, призванных обновить гниющий западный мир; потом, сделав обзор тогдашнего положения Европы и предвещая близкую европейскую революцию, страшную бурю, особенно же неминуемое разрушение Австрийской империи, я кончил следующими словами: «préparons-nous et quand l'heure aura sonné que chacun de nous fasse son devoir» («Приготовимся, и, когда пробьет урочный час, пусть каждый исполнит свой долг»).

Впрочем и в это время, кроме взаимных комплиментов и более или менее симпатичных фраз, несмотря на мое сильное желание сблизиться с поляками, я ни с одним не мог сблизиться. Наши природы, понятия, симпатии находились в слишком резком противоречии для того, чтобы было возможно между нами действительное соединение.

К тому же в это самое время поляки, более чем когда-нибудь, стали смотреть на меня с недоверием; к моему удивлению и немалому прискорбью пронесся в первый раз слух, что будто бы я – тайный агент русского правительства. Слышал я потом от поляков, что будто бы русское посольство в Париже «а вопрос министра Гизо обо мне ответило: „c'est un homme qui ne manque pas de talent, nous l'employons, mais aujourd'hui il est allé trop loin“» («Это – человек, не лишенный способностей, мы пользуемся его услугами, но теперь он зашел слишком далеко»), и что Дюшатель дал знать об этом князю Чарторижскому; слышал также, что министр Дюшатель донес обо мне и бельгийскому правительству, что я – не политический эмигрант, а просто вор, укравший в России значительную сумму, потом бежавший, и за воровство и за бегство осужден на каторжную работу. Как бы то ни было, но эти слухи вместе с другими вышеупомянутыми причинами сделали всякую связь между мною и поляками невозможной.

В Брюсселе меня было ввели в общество соединенных немецких и бельгийских коммунистов и радикалов, с которыми находились в связи и английские шартисты (Чартисты), и французские демократы, – общество впрочем не тайное, с публичными заседаниями, были вероятно и тайные сходбища, но я в них не участвовал, да и публичные-то посетил всего только два раза, потом же перестал ходить, потому что манеры и тон их мне не понравились, а требования их были мне нестерпимы, так что я навлек даже на себя их неудовольствие и, можно сказать, ненависть немецких коммунистов, которые громче других стали кричать о моем мнимом предательстве. Жил же я более в кругу аристократическом; познакомился с генералом Скржинецким и через него с графом Мерод (По-французски в оригинале), бывшим министром, и с французом графом Монталамбер (По-французски в оригинале), зятем последнего, то есть жил в самом центре иезуитической пропаганды.

Меня старались обратить в католическую веру, и так как о моем душевном спасении вместе с иезуитами пеклись также и дамы, то мне было в их обществе довольно весело. В то же время я писал статьи для «Constitutionnel» о Бельгии и о бельгийских иезуитах, не переставая однако следовать за ускорявшимся ходом политических происшествий в Италии и во Франции.

*(Отчеркнуто карандашом на полях)*

Наконец грянула февральская революция. Лишь только я узнал, что в Париже дерутся, взяв у знакомого на всякий случай паспорт, отправился обратно во Францию. Но паспорт был ненужен; первое слово, встретившее нас на границе, было: «La, République est proclamée Ю Paris» («В Париже провозглашена республика»). У меня мороз пробежал по коже, когда я услышал это известие; в Валансьен (По-французски в оригинале), пришел пешком, потому что железная дорога была сломана; везде толпа, восторженные клики, красные знамена на всех улицах, плацах и на всех публичных зданиях. Я должен был ехать объездом, железная дорога была сломана во многих местах, я приехал в Париж 26 февраля, на третий день по объявлении республики.

На дороге мне было весело, что ж скажу Вам, государь, о впечатлении, произведенном на меня Парижем! Этот огромный город, центр европейского просвещения, обратился вдруг в

дикий Кавказ: на каждой улице, почти на каждом месте, баррикады, взгроможденные как горы и достигающие крыш, а на них между камнями и сломанною мебелью, как лезгинцы в ущельях,  
(NB)

работники в своих живописных блузах, почерневшие от пороку и вооруженные с головы до ног; из окон выглядывали боязливо толстые лавочники, *èpiciers* (Бакалейщики, лавочники), с поглупевшими от ужаса лицами; на улицах, на бульварах ни одного экипажа; исчезли все молодые и старые франты, все ненавистные львы с тросточками и лорнетами, а на место их мои благородные увриеры (Рабочие), торжествующими, ликующими толпами, с красными знаменами, с патриотическими песнями, упивающиеся своею победою! И посреди этого безграничного раздолья, этого безумного упоенья все были так незлобивы, сострадательны, человеколюбивы, честны, скромны, учтивы, любезны, остроумны, что только во Франции, да и во Франции только в одном Париже можно увидеть подобную вещь!

Я жил потом с работниками более недели в *Caserne des Tournons* (Казарма (на улице) Турнои), в двух шагах от Люксембургского дворца; казармы сии были прежде казармами муниципальной гвардии (Городская полицейская стража, нечто вроде жандармерии), в то же время обратились со многими другими в червленно-республиканскую крепость, в казармы для коссидьеровской гвардии (Красная полиция, организованная бывшим членом тайных обществ Коссидьером, захватившим префектуру полиции (парижское градоначальство).

Жил же я в них по приглашению знакомого демократа, командовавшего отделением пятисот работников. Таким образом я имел случай видеть и изучать сих последних с утра до вечера. Государь, уверяю Вас, ни в одном классе, никогда и нигде не нашел я столько благородного самоотвержения, столько истинно трогательной честности, столько сердечной деликатности в обращении и столько любезной веселости, соединенной с таким героизмом, как в этих простых необразованных людях, которые всегда были и будут в тысячу раз лучше всех своих предводителей! Что в них особенно поразительно, это – глубокий инстинкт дисциплины; в казармах их не могло существовать ни установленного порядка, ни законов, ни принуждения; но дай бог, чтобы любой вымуштрованный солдат умел так точно повиноваться, отгадывать желания своих начальников и так свято соблюдать порядок, как эти вольные люди; они требовали приказаний, требовали начальства, повиновались с педантизмом, со страстью, голодали на тяжелой службе по целым суткам и никогда не унывали, а всегда были веселы и любезны. Если бы эти люди, если бы французские работники вообще нашли себе достойного предводителя, умеющего понимать и любить их, то он сделал бы с ними чудеса.

Государь, я не в состоянии отдать Вам ясного отчета в месяце, проведенном мною в Париже, потому что это был месяц духовного пьянства. Не я один, все были пьяны: одни от безумного страха, другие от безумного восторга, от безумных надежд. Я вставал в пять, в четыре часа поутру и ложился в два; был целый день на ногах, участвовал решительно во всех собраниях, сходбищах, клубах, процессиях, прогулках, демонстрациях, одним словом втягивал в себя всеми чувствами, всеми порами упоительную революционную атмосферу.

Это был пир без начала и без конца; тут я видел всех и никого не видел, потому что все терялись в одной гуляющей бесчисленной толпе; говорил со всеми и не помнил, ни что им говорил, ни что мне говорили, потому что на каждом шагу новые предметы, новые приключения, новые известия. К поддержанию и усилению всеобщей горячки немало способствовали также известия, приходившие беспрестанно из прочей Европы; бывало только и слышишь: «On se bat Ю Berlin; le roi a pris la fuite après avoir prononcé un discours! – On s'est battu Ю Vienne, Metternich s'est enfui, la Rèpublique est proclamée! Toute l'Allemagne se soulève. Les Italiens ont triomphé Ю Milan, Ю Venise les autrichiens ont subi une honteuse défaite! La Rèpublique y est proclamée; toute l'Europe devient Rèpublique... Vive la Rèpublique!»... («В Берлине дерутся, король бежал, произнес перед этим речь! Дрались в Вене, Меттерних бежал, провозглашена республика! Вся Германия восстает. Итальянцы одержали победу в Милане; в Венеции австрийцы потерпели

позорное поражение. Там провозглашена республика. Вся Европа становится республикой. Да здравствует республика!»)

Казалось, что весь мир перевернулся; невероятное сделалось обыкновенным, невозможное возможным, возможное же и обыкновенное – бессмысленным. Одним словом ум находился тогда в таком состоянии, что если бы кто пришел и сказал «le bon Dieu vient d'être chassé du ciel, la république y est proclamée!» («Бог прогнан с неба, там провозглашена республика!»), так все бы поверили и никто бы не удивился.

И не одни только демократы находились в таком опьянении; напротив демократы первые отрезвились, потому что должны были приняться за дело и укрепить за собою власть, упавшую в их руки каким-то неожиданным чудом. Консервативная партия и династическая оппозиция, сделавшаяся через день консервативнее самих консерваторов, одним словом люди старшего порядка верили во все чудеса и во все невозможности более, чем все демократы; они уже думали, что дважды два перестало быть четыре, и сам Тьер объявил: «il ne nous reste plus qu'une chose, c'est de nous faire oublier» («Нам осталось только одно; дать о себе забыть»).

Сим одним и объясняются и та поспешность и то единодушие, с которыми все города провинции и классы во Франции признали республику.

*(Отчеркнуто карандашом на полях)*

Но пора возвратиться мне к своей собственной истории. После двух или трех недель такого пьянства я несколько отрезвился и стал себя спрашивать: что же я теперь буду делать? Не в Париже и не во Франции мое призвание, мое место на русской границе; туда стремится теперь польская эмиграция, готовясь на войну против России; там должен быть и я, для того чтобы действовать в одно и то же время на русских и на поляков, для того чтобы не дать готовящейся войне сделаться войною Европы против России «pour refouler ce peuple barbare dans les déserts de l'Asie» («Чтобы отбросить этот варварский народ в пустыни Азии»), как они иногда выражались, и стараться, чтобы это не была война онемечившихся поляков против русского народа, но славянская война, война соединенных вольных славян против русского императора.

Государь! Я не скажу ии слова о преступности и донкихотском безумии моего предприятия; остановлюсь только здесь для того, чтобы яснее определить свое тогдашнее положение, средства и связи. Я считаю необходимым войти в подробное объяснение на сей счет, ибо знаю, что мой выезд из Парижа был предметом многих ложных обвинений и подозрений.

Во-первых мне известно, что многие меня называли агентом Ледрю-Ролена. Государь! В этой исповеди я не скрыл от Вас ничего, ни одного греха, ни одного преступления; я обнажил перед Вами всю душу; Вы видели мои заблуждения, видели, как я впадал из безумия в безумие, из ошибки в грех, из греха в преступление... Но Вы поверите мне, государь, когда я Вам скажу, что при всем безумии, при всей преступности моих помыслов и моих предприятий я все-таки сохранил слишком много гордости, самостоятельности, чувства достоинства и наконец любви к родине, для того чтобы согласиться быть против нее презренным агентом, слепым и грязным орудием какой бы то ни было партии, какого бы то ни было человека! Я изъяснял неоднократно в моих показаниях, что я с Ледрю-Роленом почти не был знаком, видел его только раз в жизни и едва сказал с ним десять незначительных слов; и теперь повторяю то же, потому что это есть истина. Гораздо ближе был я знаком с Луи-Бланом и Флоконом, а с Альбером познакомился только по моем возвращении из Франции (Описка: следует читать «во Францию»). Впродолжение всего месяца, проведенного мною в Париже, обедал три раза у Луи Блана и был раз у Флокона в доме да еще несколько раз обедал у Коссидьера, ре-волюционного префекта полиции, у которого несколько раз видел Альбера; с другими членами Провизорного (Временного) правительства я в это время не виделся. Только одно обстоятельство

могло подать повод к вышереченному обвинению; но это обстоятельство, кажется, осталось неизвестным моим обвинителям.

Решившись ехать на русскую границу и не имея денег для этой поездки, я долго искал у приятелей, и у знакомых и, не найдя ничего, скрепя сердце, решился прибегнуть к демократическим членам Провизорного правительства; вследствие этого написал и послал в четырех экземплярах к Флокону, Луи Блану, Альберу и Ледрю-Ролену короткую записку следующего содержания: «Изгнанный из Франции падшим правительством, возвратившись же в нее после февральской революции и теперь намереваясь ехать на русскую границу, в Герцогство Познанское, для того чтобы действовать вместе с польскими патриотами, я нуждаюсь в деньгах и прошу демократических членов Провизорного правительства дать мне 2000 франков не даровою помощью, на которую не имею ни желания, ни права, но в виде займа, обещая возвратить эту сумму, когда будет только возможно».

Получив сию записку, Флокон просил меня к себе и сказал мне, что он и друзья его в Провизорном правительстве готовы мне ссудить сию незначительную сумму и, если я потребую, более, но что прежде он должен переговорить с польскою Централизациею, ибо, находясь с нею в обязательных отношениях, он связан ею во всем, что хоть несколько касается Польши. Какого рода были эти переговоры и что польские демократы сказали обо мне Флокону, мне неизвестно; знаю только, что на другой день он мне предлагал гораздо большую сумму, что я взял у него 2000 франков, и что, прощаясь, он меня просил писать ему для его журнала «Rèforme» из Германии и Польши. Я писал ему два раза: из Кельна в самом начале, потом из Кэтена в самом конце 1848 года при посылке своего «Воззвания к славянам». От него же не получал ни писем, ни поручений и не имел с ним никаких других ни прямых, ни косвенных отношений. Денег не отдал, потому что жил в Германии в постоянной бедности.

Во-вторых меня обвиняли или, лучше сказать, подозревали, – для обвинения не нашлось положительных фактов, – подозревали, говорю я, что я, отправляясь из Парижа, находился в тайной связи с польскими демократами, действовал с ними заодно, по их поручению и по прежде составленному плану. Такое подозрение было весьма естественно, но также лишено всякого основания. В эмиграциях должно различать две вещи: толпу шумящую и тайные общества, всегда состоящие из немногих предприимчивых людей, которые ведут толпу невидимую рукою и готовят предприятия в тайных заседаниях. Я знал в это время толпу польских эмигрантов, и она меня знала, знала даже лучше, чем я мог знать каждого, потому что они были без числа, я же только один русский среди их; слышал, что они говорили: их гасконады, фантазии, надежды, – слышал одним словом, что всякий мог бы слышать, если бы только захотел; но не участвовал в заседаниях и не был поверенным тайн действительных заговорщиков. В это время в Париже существовало только два серьезные польские общества: общество Чарторижского и общество демократов.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.